

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Рассказы

Учан-су

Дом недалеко от вокзала, и в ночной тишине, когда спишь или работаешь, даже зимой и осенью, сквозь закрытые окна, слышен шум его, специфический шум железной дороги, нечеткий, смытый и будоражащий, умирающие крики поездов, слышны объявления по вокзальному радио, что доносятся невнятным гулом, тревожат, напоминая о многих изъезженных дорогах (которые и толком-то не успел рассмотреть и увидеть, мимо которых и по которым, а чаще – над которыми – пронесился стремительно, мало их замечая, запоминая, думая о делах, что предстоят в конечном пункте, в цели, так сказать, следования), а ещё больше напоминая о неведомых дорогах, зовущих, манящих, требующих отбросить все суетное, накопившееся в душе, устремиться прочь от насиженного, опостылевшего...

Дороги.

И когда я слышу поздними вечерами и ночами беспокоящие гулки вокзальные объявления, я сердито встаю со своего места и захлопываю окно, чтобы можно было спокойно, нормально поработать, покорпеть над компьютером в уютном круге света настольной лампы или же спокойно, нормально поспать, выспаться перед предстоящим трудным днём. Потому что мне уже немало лет. А когда человеку немало лет, он должен стараться всё делать спокойно и нормально, без излишней суеты и нервозности. Ну вот, знать-то я это знаю... И то слава Богу. Может, когда-нибудь научусь и следовать своим умным советам.

Когда он умирал (все хочется сказать – помирал, по-стариковски, да к нему не подходит это слово), когда, значит, он умирал – тяжело, жутко – в больнице, он вдруг часа за три до смерти, совершенно для всех нас неожиданно, очнувшись от продолжительного беспомыслия, раскрыл глаза и посмотрел вокруг мутным, но становящимся все более осознанным взглядом – наверно, все мы в тот миг предстали перед его больным, до сумасшествия утомленным взором безликой толпой, ждущей необратимого с той долей оставшегося сострадания в душе каждого, насколько оно не было затронуто и порушено равнодушием. Он скользнул по нашей небольшой толпе взглядом и, еле ворочая языком, тяжело промолвил:

– Как все несправедливо устроено на свете... Я всегда думал... что самое изношенное во мне – сердце... А умираю от рака мозга... Мне бы больше подошло нажать себе... рак... сердца. Да где теперь его возьмешь... Тем более, что и нет такой болезни... Впрочем, не знаю... Кончается мое время...

Это была у него самая долгая речь за последние дней десять. Он, притомившись, устало, медленно прикрыл глаза, а открыв их через минуту, так ярко и осознанно глянул на меня, что я чуть было не вздрогнул. Нас-то в палате было человек семь-восемь его друзей, близких. Помню, до этого я все смотрел на одеяло, под которым он лежал, мертвые складки одеяла навели меня на мысль, которая вдруг ожгла, как неожиданная, незаслуженная пощечина; я подумал, тело, что под этими неподвижными, неживыми складками, вскоре будет таким же неживым, неподвижным, не дышащим, ничем не отличающимся от мертвой материи, нечувствительной и бездушной материи одеяла; и человек, который всего лишь несколько минут назад

что-то думал, глубоко чувствовал, боялся смерти и хотел жить, ничем не станет отличаться от безликого, бездушного, того, что в неподвижных складках лежит на нем. На этой мысли, рассеянно посматривая на складки одеяла на умирающем друге моем, я обжегся об его ясный взгляд, устремленный на меня.

– Помнишь?.. – сказал он очень тихо, и только благодаря глубокой, траурной тишине в палате я расслышал его. – Это было лучшее... – сказал он еще с видимым усилием, все более слабеющим голосом.

Я не мог сообразить, о чем он, не мог сразу понять, что именно он хочет, чтобы я вспомнил, но машинально, поспешно закивал, как мне казалось, успокаивающе.

Он устало, утомленный до крайности, откинулся на подушку.

– Вы бы его домой забрали, – шепотом посоветовал врач за нашими спинами. – Что уж теперь...

... Через день мы его хоронили. На кладбище я вдруг отчетливо, до мелочей, вспомнил нашу совместную поездку в Крым, когда он, почти пятидесятилетний отец семейства, был безнадежно, по-мальчишески влюблен в девушку из санатория. Она была значительно моложе его, лет под тридцать на вид, но уже успела приобрести какие-то болячки, которые и лечила в санатории более или менее успешно. С Рамизом, моим умершим другом, в то время они съезжались летом уже в девятый или десятый раз, и отношения их давно переросли в отношения старых любовников, понимающих друг друга с полуслова. И, вспоминая нашу совместную поездку, я подумал – а не это ли он имел в виду, когда задал мне свой вопрос в больнице?..

Мы втроем – я, Рамиз и его девушка – поехали как-то развеяться, гульнуть и заодно отвлечь ее от санаторной скуки и от однообразных развлечений крикливого и потасканного массовика. Решили поехать в ресторан, хорошо знакомый Рамизу. Ресторан оказался с неожиданно красивым названием; теперь, кажется, название переменили уже, непонятно зачем. Учан-су. Так назывался ресторан. Простое и красивое название, непретенциозное и неприятельное, как имя Лилия, как характер санаторной Лили, которую любил мой друг и которая в самом деле была довольно милой и некокетливой простушкой, из тех девушек, у кого слова и мысли не задерживаются в голове, а придя в голову, тут же просятся на язык, на волю. Что она и делала довольно успешно, но в чем ни на самую малость нельзя было угадать примитивности характера, а скорее были в этом открытость, распахнутость души, вера в то, что все поймут, как надо понять. Мне эта черта в ней показалась симпатичной, и я немного даже, помню, позавидовал Рамизу. Но в тот вечер между ними неожиданно, пока мы ехали в ресторан, вышел разлад, она дулась на него за что-то, он был вне себя от того, что не мог ничего поделать, чтобы вернуть себе ее расположение и, думаю, заодно – свое душевное равновесие, был вне себя и тихо кипел, но держал себя в руках, что, было заметно, стоило ему усилий. От всей этой мути у меня тоже, естественно, подпортилось настроение. Вот в такой ситуации я оказался сидящим между ними за столиком в ресторане, куда мы приехали позже обеда, но раньше ужина, так что посетителей в зале было немного: единственное после названия, что мне здесь по-настоящему понравилось. В углу зала на раскоряке-тумбочке стоял старинный, уже вполне экзотический граммофон с трубой в виде лепестков татуированного медными узорами гигантского колокольчика. Помню, официант на мою просьбу включить, а вернее было бы сказать – завести, чтобы хоть как-то снять общее напряжение за столом, почему-то неопределенно и неприятно поморщился. Я не понял, в чем дело.

– Иглы нет, – неохотно пояснил официант и пошел за нашим заказом.

– Дать ему надо, вот что, – хмуро пояснил Рамиз. – Тогда и игла появится.

И когда официант возник у нашего столика, неся закуску на вульгарном пластмассовом подносе, при одном взгляде на который мог пропасть аппетит даже у волка, я намеренно грубо сунул в карман ему мелкую купюру и сказал:

– Найди иглу и включи граммофон.

Что он и сделал моментально. Я, однако, был разочарован. При виде старого граммофона я невольно настроился на старомодный лад, так сказать, лад-ретро и думал, что из граммофона тотчас польются песни шестидесятых, сентиментальные, мелодичные и наивные, и никак не ожидал модного шлягера. Пришлось послушать, но это уже внесло диссонанс в мое и без того далеко не превосходное настроение. А тут еще этих за столиком ублажай и мири. Никто, конечно, меня не заставлял делать это, но что же мне было сидеть истуканом, видя, как все больше сгущаются тучи над нашим тоскливым пиршеством? Приходилось балансировать между ним и ею, было это довольно трудно, потому что Лилю я почти не знал, а ее тоже надо было поддерживать, ободрять, не то крен в сторону друга был бы налицо, и в ее глазах я бы не справился с ролью миротворца, добровольно взятой на себя. Когда иссякли у меня более или менее убедительные доводы в защиту той или иной стороны, я не очень-то, к сожалению, оригинально стал вступать в тихую и спокойную, но тем не менее вполне ощутимо напряженную перепалку. «Да будет вам, – вставлял я то и дело. – Да перестаньте, ребята, отвлекитесь. Да не заостряйте вы...» Ну и все прочее в том же духе. Потом вдруг наступила тишина за нашим столиком, как на собраниях перед выступлением очередного оратора, пока он там на трибуне нацепляет на нос очки и шуршит листочками; и тут как раз заговорила Лиля, и с первой же ее фразы стало ясно, что этот текст явно не для меня, в какой-то степени – постороннего, что она решила брать быка за рога, нисколько не смущаясь такой мелочью, как мое присутствие за столом.

– Да, – сказала она, как обычно негромко, но с явно слышимым вызовом в голосе. – Я не могу родить. Ну и что же? Не думаю, что когда люди влюбляются, они должны просить друг у друга медицинскую справку о способности к деторождению...

– Что ты такое городишь? – перебил ее Рамиз, поморщившись и кинув быстрый взгляд в мою сторону, чтобы узнать, как я реагирую. Я молча, глубокомысленно жевал, опустив глаза и изо всех сил стараясь показать, что все мои умственные способности сосредоточены на этом процессе – пережевывании пищи.

– Я правильно горожу, – тихо, но напористо настаивала Лиля. – Десять лет ты уверяешь меня, что дышать без меня не можешь, что задыхаешься в своем городе, в своей семье. И что же? Разве не легче исправить ошибку даже в твоём возрасте, чем жить, все время мучаясь? Я тоже люблю тебя не меньше. А в итоге мы и дальше должны встречаться тут по три недели в году. Три недели в году... – с горечью такой отчетливой, что у меня защемило сердце, повторила она. – Оба мы непонятно почему должны страдать... Нет, понятно. Из-за твоей инертности, из-за твоего нежелания что-нибудь изменить...

Я не верил своим ушам. Хотя мы с Лилькой и подружились быстро (кстати, она сама, представляясь, так назвала себя, а когда я несколько неуклюже и нудно стал уточнять, почему именно так, пояснила с улыбкой – чтобы сама себе девчонкой казалась, а не старухой, ну тут я, естественно, рассыпался в комплиментах, что, мол, рано ей о старости думать и что она и есть девчонка, так что Рамиз, слушавший нас

с постепенно сползавшей с лица улыбкой, по-моему, стал ощущать себя рядом с Лилькой глубоким стариком, чего она, как я потом понял, и добивалась – позлить его хотела), так вот, хоть мы и подружился с Лилькой почти с первой же встречи, и оба были достаточно коммуникабельны и контактны, я все же впервые слышал, чтобы подобные вещи можно было бы так просто произносить за ресторанным столиком, посреди постепенно заполняющегося зала, произносить так просто, серьезно, даже не сердито, а как-то больше с утомленностью, со сдерживаемой болью. Это меня поразило, как и вообще вся манера поведения Лильки, как все, что она говорила. Это было симпатично, и я проникался к простодушной Лиле, оказавшейся, вопреки моему первому впечатлению, не такой уж и простушкой, искренним уважением.

– Всё не так просто, как тебе кажется, – вяло изрёк Рамиз, и, по-моему, ему самому стало стыдно за столь избитые слова.

– Да? Хотелось бы верить, что на самом деле все не так просто, – сказала Лиля.

– Но... Должна тебе признаться: мне все надоело...

– А что именно? – стал уточнять Рамиз.

– А именно то, что мы, как воры какие-то, договариваемся провести здесь, в Ялте, вместе отпуска, что прячемся от твоих бакинских друзей, что...

– Но ведь... – перебил её Рамиз и не договорил, сделав робкий жест в мою сторону, долженствующий, видимо, опровергнуть ее столь категоричное заявление насчет друзей, но был перебит в свою очередь.

– И потом я скажу тебе вот что: мы больше не должны встречаться, нам не надо больше видеться. Да. Надо расстаться. Поверь, мне нелегко говорить это, но дальше жить так нельзя, нельзя, нельзя, нельзя...

Шлягер на пластинке давно закончился, и эта ее фраза удивительно мягко и естественно легла на старенькую мелодичную песню Битлз. Пластинка, видимо, представляла собой нечто вроде музыкального винегрета.

...Мы с Рамизом жили в Ялте в Доме творчества писателей, Лиля в санатории недалеко от нашего дома. В тихом парке Дома творчества белки бегали по стволам старых сосен, и мы часто кормили их с рук. В санаторном парке никаких белок не наблюдалось, думаю, их распугал шум, гам, грохот, которые распространял вокруг себя в радиусе километра напористый и голосистый массовик. Ни мне, ни Рамизу не работалось тем летом, и мы сделались товарищами по безделью, несмотря на существенную разницу в возрасте (Рамиз был значительно старше меня), изо дня в день основным нашим занятием стало ничегонеделанье и пустое времяпровождение; часто отправлялись мы в санаторий, где обитала Лиля, и наблюдали не очень оригинальные выходки массовика, который во всех своих придумках из кожи вон лез, чтобы посмеяться над участвующей в играх публикой, но неизменно получалось наоборот – все смеялись над ним; примитивизм всего его поведения не позволял мне делать вывод, что именно этого он и добивался, но если так, то честь ему и хвала – в этом он преуспел, всякий раз успешно оставаясь в дураках. Когда нам надоело наблюдать за играми, мы забирали Лилю и шли гулять по набережной, заходя в какие-нибудь кафе, или, если было достаточно жарко, отправлялись на пляж, или Рамиз и Лиля, явно испытывая поползновение к уединению, прощались со мной, предоставив меня самому себе, и я один бродил вдоль моря или шел на пляж театрального общества, где однажды одна почтенная и словоохотливая дама рассказала мне, как здесь, у моря, несколько лет назад на ее глазах убило молнией молодого солдата, собиравшегося купаться в море в грозу. Рассказывала она не очень ярко, и я бы, на-

верно, давно забыл про убитого солдата, если б в конце своего рассказа эта вполне интеллигентная, с утонченными манерами женщина не осенила себя частыми мелкими крестами...

Я услышал невнятный шум, очнулся от своих мыслей, огляделся – Лиля и Рамиз вяло, утомленно беседовали, а на улице – было видно сквозь большое окно ресторана – шел дождь. Его шум и заставил меня очнуться.

– Дождь, – сказал я.

– Ну, выпьем? – сказал Рамиз.

– Я больше не буду, – Лилия прикрыла рукой стопку, чтобы ей не наливали.

– Убери руку, – сказал Рамиз, протягивая бутылку к ее стопке.

– Сказала же – не буду, – повторила она.

Рамиз налил водку на ее пальцы, как раз, по-моему, хватило бы наполнить стопку.

– Что, с ума сошел? – спросила она без всякого, впрочем, возмущения.

– Да, – сказал Рамиз. – Я сошел с ума.

Я молча наблюдал за ними. Былой суетности теперь и в помине не было во мне; нелепую ответственность за то, чтобы наша маленькая пирушка прошла как можно менее мрачно, что пристала ко мне в начале вечера, как ветром сдуло, или точнее – дождем смыло, и я сидел раскованно, слушая, как гудит хмель в голове, как шумит дождь за стенами, как приглушенно шумит ресторанный люд, не вполне ещё расходившийся, слушая приятную музыку из давно ставшего анахронизмом музыкального аппарата, слушая убывающий, тающий разговор за нашим столиком, попивая водку, без слов чокаясь с Рамизом. Теперь, когда я был немножко пьян, все вокруг чуть-чуть сдвинулось с неприятной точки, изменило свою ось, вокруг которой все теперь веселее крутилось, изменило свое содержание и вскоре грозило окончательно стать своей противоположностью. Я увидел, что Рамиз держит Лилию за руку. Среди всеобщего невнятного шума за столиками, звона посуды, звуков из граммофона эти двое в какой-то миг остались одни-одинешеньки, и тут вдруг мне почудилась фраза, которую, немного зная характер Рамиза, я мог лишь с большим трудом приписать ему:

– Не бросай меня, Лилия, не бросай меня...

То ли фраза попала в еле уловимую паузу во всеобщем гаме, как самолёт падает в воздушную яму, то ли слух мой в ту минуту больше работал на моих соседей за столом, но услышал я именно это и достаточно отчетливо. Лилия ответила не сразу, некоторое время ушло у нее на поглаживание его руки на скатерти. Собирались с духом, видно. Я снова, на этот раз осознанно, напряг слух.

– А как же мне жить, родной? – сказала она. – Разве это жизнь, что у меня все эти годы? Я не могу так продолжать. Если бы я не любила тебя, все было бы проще. Гораздо проще. Курортный роман. На двадцать четыре дня. И все.

– Не надо так, – проговорил он. – Я ведь живу и знаю, что ты где-то есть. Пусть далеко, в другом городе, но есть. А если ты уйдёшь, что тогда? Тогда многое для меня теряет смысл. Все к черту катится. Мне ведь немало лет уже, и Бог не даст мне больше такой хорошей любви...

– Милый мой, милый... А как же я, как же моя жизнь? – она помолчала и потом: – Видишь как, – говорит, – каждый из нас о себе... Можно ли так?..

И тут за соседним столиком так дружно заорали, приветствуя очередной тост, что последняя фраза Лили, тихо тренькнув надломленной льдинкой, канула в этом

оре, как в водопаде, осталось же одно грустное выражение на лице Рамиза. Вот примерно так они разговаривали, а к концу вечера мы надрались с Рамизом вдрызг, дождь усилился, надо было приканчивать невеселую нашу пирушку, но за окнами лило ливмя, лило, лило, лило, лило, писать бы мне все набело, побольше денег набегло, и стало б жить не тяжело, итак – лило, лило по всей земле, по всей планете, лило (слово-то какое, боже, оторваться нет сил, лиловые струи чудятся), ну, значит, так лило, шуршало и свежело, как в раю, в раю, вне стен души моей, ибо и душа имеет стены, раз уж доказывают, что их имеет вселенная, а что такое душа, как неточная копия вселенной с живущими на планетах живыми существами, с мертвыми уголками, высохшими океанами, некогда омывавшими душу мою... Вот такие пьяные мысли болтались в моей голове, как детская ножка, для озорства залезшая в папин ботинок.

– Как же мы вернемся по такому дождю? – задумчиво проговорила Лиля, и видно было, что ее совершенно это не беспокоит, она далеко пребывала мыслями. – Я и зонтик не захватила.

– А мы здесь останемся, – сказал я. – Верно, Рамиз? – и тут же, не дожидаясь ответа, прибавил: – Вернемся, Лилька. Еще как вернемся. Еще ни разу не было, чтобы я не возвращался. Мы вернемся по-пластунски.

– Не говори так много, – сказала Лиля. – Ты устанешь.

– Нет, что ты, – сказал я. – Не устану. Я свеж и бодр, как бобер.

Я поглядел за окно; и улица под дождем из этого прокуренного зала, пропи-танного угнетающим шумом, звоном, смехом, и квадрат асфальта под дождем, освещенный светом из ресторанный окна, вдруг показались мне землей обетованной.

– Не унывайте, детки, дядя с вами, – сказал Рамиз, все еще сохранявший остатки бодрости и жизнерадостности, несмотря на невеселое для него наше за-столье, поднялся и пошел, стараясь не шататься.

– Куда это он? – спросила Лиля.

Я проводил взглядом двоящуюся фигуру Рамиза, пробиравшегося среди двоя-щихся танцующих, и сказал вполне определенно:

– Туда.

– Ты погляди, что этот шут гороховый вытворяет, – вдруг с досадой произнесла Лиля.

Я поглядел. Двойной Рамиз периодически приседал и вскакивал, отдавая честь перед каким-то военным, танцующим с полногрудой женщиной. Выражения лиц были для меня стерты и туманны, и это меня нервировало; несмотря на сильное опьяне-ние, мне хотелось разглядеть лица, очевидно, смутно, где-то в темной глубине со-знания я все еще продолжал помнить о своей профессии инженера душ человеческих и тщетно стремился теперь разгадать, что творится в душах этих троих, оказавшихся в подобной, не очень-то приглядной ситуации – Рамиза, военного и обильной теле-сами женщины. Я продолжал размышлять о чем-то тягучем, бесконечном, вроде по-темок чужой души, когда вернулся Рамиз. Вблизи он был не очень двойным, почти сливался с самим собой, и это оказалось намного приятнее, чем наблюдать за ним, двоящимся, да еще в придачу дурачащимся.

– Где ты был? – спросила Лиля.

– В туалете, – ответил за Рамиза я, потому что сам туда хотел.

– Нет, – сказал Рамиз, бессмысленно и несколько таинственно улыбаясь (его улыбка тут же сделалась двойной и стала существовать сама по себе, вне его лица,

как у кота из сказки об Алисе). – Я вызывал такси! – Он это сказал так гордо и так напрашивался на восхищения своей сообразительностью (впрочем, вполне понятно для человека инертного, что-то сумевшего), что можно было подумать, что он не такси вызвал, которое еще даже не ясно, приедет – не приедет, а, по крайней мере, остановил кровопролитие в одной из горячих точек планеты, благодаря своей дипломатической находчивости и таланту.

Минут через десять мы выходили из ресторана и усаживались под проливным дождем в такси, за рулем которого вдруг счастливо обнаружилась молодая, светло-волосая, очаровательная девушка, чем я был приятно удивлён, и в состоянии этого приятного удивления тут же шлепнулся рядом с ней на переднее сидение. Рамиз с Лилей сели сзади, оба снова помрачневшие, и изредка обменивались короткими, тихими фразами. Но мне уже порядком осточертели их кислые рожи, и я принялся с места в карьер ухаживать за этой замечательной девушкой за рулем, да так это у меня получилось неудержимо-напористо, что она, кажется, даже перепугалась.

– Не хватайте меня за руки! – строго просила она меня и время от времени обращалась к этим скучным приятелям сзади: – Успокойте своего друга, пусть он не трогает меня.

– Перестань, оставь ее в покое, – доносилось сзади. – Мы сейчас разобьемся. Оставь ее.

– Как вас зовут? – спрашивал я, улыбаясь до ушей.

– Я вам уже сказала, – говорила девушка.

– Можно я вам ручку поцелую? – клянчил я с пьяной слезой в голосе.

– Не трогайте меня, – просила она, – а то я нервничаю.

Всю дорогу я спрашивал её имя, шесть раз назначал свидания в разных местах Ялты, несколько раз приглашал в ресторан и один раз предложил выйти за меня замуж. Тут она улыбнулась, но чем-то эта улыбка мне не понравилась, и я не стал настаивать на последнем предложении. Ненадолго в машине наступила тишина и я отчетливо осознал, что это именно я так безобразно варварски нарушал ее своей глупой трескотней. Мягкий шум дождя, негромкий приглушенный шум мотора – и все. И до чего же, оказывается, было приятно так ехать по блестящему, мокрому, будто отполированному асфальту.

– Учан-су, – послышался тихий голос Лили за моей спиной.

– Что? – спросил Рамиз тоже тихо, будто оба они находились у постели спящего ребенка.

– Учан-су, – задумчиво, не сразу повторила она. – Тоненькая струйка – Учан-су...

Опять наступила тишина благодатная, а потом наша девушка за рулем сказала:

– Да, тоненькая струйка, а был, знаете, какой водопад! Красота! Мощный, как лев...

– Вы осетинка? – спросил я ее.

– Да, – кивнула она. – Как вы догадались?

– Когда вы про льва сказали...

– А что тут такого? Он и правда был мощный, сильный, как лев.

– Ничего такого, – сказал я. – Что вы обижаетесь?

– Я не обиделась, – сказала она обиженно.

– А вы знаете, что я заметила, – проговорила Лиля, – когда смотришь на эту струйку, так и кажется, что это был красивый, настоящий водопад. Правда, Рамиз?

– Не знаю, – не вдруг отозвался Рамиз.

– А вы правы, – сказала осетинка за рулем. – Угадывается, – она подумала и прибавила, – или это оттого, что я видела его таким, настоящим? Не знаю...

– Нет, нет, – сказала Лиля. – Угадывается, точно. Я же не видела... Учан-су... Место, где умерла моя любовь, – сказала она.

Сказала она просто, без всякого пафоса, что казалось почти невероятным.

– Фу, пошлятина, – ляпнул я спьяну, не подумав, и тут же понял, что в данном случае мне следовало бы заткнуться. Заткнуть, так сказать, свой фонтан, а вернее, свой водопад, который всем, и мне в том числе, давно надоел.

Потом мы приехали. Я платил за такси и, нагнувшись к девушке-водителю, сказал:

– Прощайте, прекрасная осетинка, так я и не узнал вашего имени.

– Я вам уже говорила, – упрямо повторила она.

– Говорила, говорила, – подтвердил Рамиз. – Мы с Лилей свидетели.

Я не стал у него узнавать ее имя, а потом так и не мог вспомнить, хотя временами наплывало, знаете, такое, будто непременно надо вспомнить какую-нибудь ерунду, давно бывшую, словно жизнь без этой давно прошедшей, никому не нужной мелочи уже не будет такой полной, как хотелось бы... Тем более, что девушку я помнил еще долго, очень отчетливо помнил ее лицо.

Тем летом Рамиз с Лилей расстались. Он поначалу сильно переживал, не раз в Баку встречался со мной, уводил пить и слезно жаловался на свою судьбу, но и пальцем не шевелил, чтобы что-то исправить в ней. Это на первых порах раздражало меня до того, что я не очень-то верил в искренность его чувств; я был на позициях человека действия, своим трудом и своими руками, ну и прочее, все, что на плакатах. Но в то же время я понимал, что только в силу его бездеятельности я не имею права подозревать его в неискренности и поверхностности переживаний. И я мямлил ему какие-то глупые и бесполезные утешения, бросив свои радикальные советы слетать к ней, забрать ее, развестись с женой и жениться на Лиле, раз уж он без нее жить не может, черт побери! Но плакался и выпивал со мной он не так часто, у каждого из нас были свои дела, и разница в возрасте, которая казалась несущественной помехой на отдыхе в Ялте, где во всем заезде из Баку в Доме творчества были только он да я, тут, в своем городе, сказывалась резче и ощутимее, у каждого из нас был свой круг знакомств и друзей, и круги эти только лишь соприкасались, не сливаясь полностью один с другим. Потом мы изредка встречались на улицах или на различных презентациях, или у общих знакомых, и встречались как добрые, старые друзья, нам было приятно видеть друг друга, будто нас связывало нечто, о чем не знают все остальные. И в самом деле так и было. Рамиз постепенно возвращался к своей нормальной, размеренной жизни, с каждым днем все больше погрязая в семейных заботах, хлопотах, суете (как и я, впрочем, как и я), все реже вспоминал он со мной Ялту, непугливых белок на соснах в парке Дома творчества писателей, ресторан Учан-су, нашу поездку в такси под проливным дождем, Лилю, их любовь, скончавшуюся у нас буквально на глазах под звуки старинного граммофона (выражаясь ее манерой говорить, а как же еще выражаться, если подобные вещи только у нее и выходили естественно), водопад Учан-су, тоненькую струйку, в которой и вправду угадывался мощный, как лев, шумный – в былые времена – настоящий водопад с упругим зеркалом падающих вод, от коих теперь осталась только эта тоненькая ниточка с воздушным – как и полагается всяким ниточкам и паутинкам – названием Учан-су.

Через несколько лет Рамиз умирал в онкологическом центре от рака мозга. Я ездил к нему в больницу. Хотя я уже говорил об этом... Почему-то я уверен, что именно те слова, с которыми он обратился ко мне тогда в палате, были последними в его жизни. Мне хочется в это верить, потому что... Ну, просто мне очень хочется, чтобы это оказалось так, чтобы после этих слов, после его вопроса, обращенного ко мне и о многом мне говорящего, он бы не произносил ничего такого, что могло бы быть далеким от этих слов...

... Потом я стал замечать за собой странные вещи, чего раньше не наблюдалось: вот я только приехал и через день-другой мне снова хочется уехать отсюда, мне тесно и душно в своем городе, но, когда попадаю в другие города, то же самое повторяется уже на следующий день, хочется побыстрее закончить дела и вернуться домой. По ночам тревожащий, глухой шум вокзала просачивается в комнату. Я встаю, плотно прикрываю окно и некоторое время сижу перед ним, уставившись на пустынную ночную улицу, залитую перед нашим домом мертвенным светом фонаря. Безвкусно и без удовольствия выкуриваю сигарету. О чем думается в такие минуты? Трудно сказать. Вроде ни о чем. Вроде обо всем. И все же среди разных беспокойных, обрывочных мыслей вдруг возникает чувство, что, наверное, именно такие вещи, как напрочь забытое имя девушки-осетинки в такси, или почти забытая нелепая поза двоящегося в моих глазах Рамиза, пьяного и дурачащегося перед танцующими в ресторане, или грустные взгляды Лили за столом, или огромный с медным узором лепесток граммофона, внезапно разразившегося шлягером, – что именно такие вещи – позабытые, полузабытые, стирающиеся из памяти – не будь они забытыми и стирающимися, делали бы нашу жизнь полнее, сохраняли бы ее яркие краски и запахи в каждом благословенном мгновении, отпущенном нам; и глоток за глотком мы пили бы, упивались бы этой жизнью, прислушиваясь к причудливому переплетению ее голосов, из которых многие не слышим, многие пропускаем мимо ушей, боясь услышать, затыкаем уши, чтобы, не дай Бог, не просочились незванно голоса этой жизни, могущие растревожить нас среди ночной тиши и спокойного безмолвия, лишить душевного покоя...

Наблюдатель

Если сильно зажмуриться и потом мгновенно распахнуть глаза, то в ясной синеве неба появятся мелкие звездные крапинки, похожие на пузырьки, как много-много лет назад, в детстве, когда он на мардакянской даче лежал на раскладушке в саду и смотрел в небо, попеременно зажмуривая и открывая глаза, стараясь каждый раз находить новые узоры на полдневном безоблачном небе.

После обеда его укладывали спать, но он не хотел, огорчался, капризничал, придумывал поводы, чтобы на сегодня миновать опостылевший отдых, хотелось еще побегать на пустыре возле дачи, где валялись кучи мусора, и где однажды он нашел тоненькое обручальное колечко, золотое.

Но мама с недавних пор решила, что после обеда он каждый день должен хотя бы часик поспать или, по крайней мере, полежать спокойно, так как был он слишком худым и чересчур подвижным, юрким, беспокойным, что мешало ему набирать нормальный для своего роста и для своих восьми лет вес.

Солнце пекло нещадно – середина лета; коротко остриженная голова была горячеей, и мама у двери, под раскидистым тутовником, кричала ему, чтобы вернулся и надел пляжную панамку. Он не хотел: в панамке здесь, на пустыре, он выглядел бы

нелепо, никто из детей не ходил сюда в головном уборе – кепке или шляпе от солнца. Он набирался солнечного света и тепла, впитывал жару через худенькое свое тело и остриженную голову, чтобы потом, когда отец вернется с работы, и они поедут на пляж, с наслаждением растратить, растворить накопленное тепло в прохладной морской воде.

Все пока было спокойно, жизнь шла размеренно и позволяла надеяться на хорошее. Неприятности начались потом, будто жизнь надломилась, поломалась, и лучшая половинка осталась в его детстве.

Иногда в небе пролетала птица, разрушая узоры, которые он наблюдал.

К счастью, время полдневного сна, как и все плохое, кончалось, и он вскакивал с раскладушки, и порой его вместе с двоюродным братом, семейство которого жило на соседней даче, посылали в булочную за хлебом, и оба мальчика бежали босиком по нагретому, обжигавшему пятки асфальту, и были рады, что обрели недолгую свободу без родительского надзора.

Но с братом он так и не подружился, слишком разными были характеры, неинтересно было с ним...

...Он проснулся поздно, будильник показывал половину одиннадцатого, вспомнил, что среда, что на работе должен быть после одиннадцати, что день предстоит насыщенный и нелегкий, ждут неотложные дела, которые нельзя откладывать на четверг, а тем более – на пятницу, надо проверить около десяти объектов, на которые падало серьезное подозрение... И вдруг посреди рабочей недели, сам не понимая, что его натолкнуло на это неожиданное решение, заказал такси и поехал в свое селение, на кладбище, на могилу отца. Стал припоминать: отец умер четырнадцать лет назад, и он уже года два не был на кладбище, на его могиле. Конечно, это был повод, так сказать, сыновний долг, но почему так внезапно, позабыв все срочные дела, которые требовали его присутствия и немедленного решения, тогда как можно было бы спокойно посвятить этому воскресный день? С отцом он нельзя сказать, что был дружен при жизни его; после того, как развелись родители, он редко виделся с отцом... Уже подъезжая к кладбищу, он вспомнил свой сон, очень путанный, бессюжетный, тревожный, из которого ничего нельзя было понять: если сильно зажмуриться, то сверху, с чистого, прозрачного неба посыплется крапинки, похожие на осколки стеклянных звезд. Давно умершая бабушка, у которой он жил несколько лет, когда уже был юношей, что-то несуразное несла с балкона третьего этажа дома, похожего на их старый дом в нагорной части города, где ютилась, в основном, городская беднота; покойный отец, нервно настаивающий на срочном переезде в неизвестный северный город, плачущая навзрыд, будто случилось большое горе, мать... Такой сон...

На кладбище никого не было, кроме двух служителей – дворников, непонятно, что здесь убирающих и охраняющих – все могилы заросли сорной травой, кое-где валялись прозрачные грязные пакеты, пожелтевшие газетные листы и прочий мусор, и никому дела не было до всего этого. Завидев его у могилы отца, торопливой рысцой по главной аллее кладбища стал приближаться молла. Он стоял и смотрел на надгробный камень, очень простой, из обычного камня, с надписью на кириллице, на которой уже никто не читает здесь. Скупая надпись: годы жизни, имя, фамилия... Они не могли пробудить в нем ни одного воспоминания, кроме тяжелых месяцев, когда отец пристрастился к алкоголю, и скандалы в их доме вспыхивали часто и долго не затихали, то достигая кульминации, то опускаясь до относительного взрывоопасного затишья, как кардиограмма неблагополучного сердца. Он был в каком-то полу-

сонном состоянии, но вдруг будто пробудился – первая дата на камне, дата рождения отца, вдруг натолкнула его застывшую мысль на воспоминание, которого у него никогда не было и быть не могло: каким был его отец ребенком – годовалым, лет трех, пяти?.. Никаких детских фотографий его, конечно, не имелось, в те годы фотографии были редкой роскошью, не все могли себе позволить, а тем более – сельские жители. Но ему необъяснимым, чудесным образом вдруг привиделся живой детский образ отца: как он учился ходить, смешно переставляя ножки, хватаясь по пути за все, что попадалось, чтобы не упасть, пугливо улыбаясь своей новоприобретенной способности самостоятельно передвигаться... Он будто ненадолго очутился в давнем сне отца, проспал в его сне, не понимая, как сюда попал. Он некоторое время рассматривал придуманный образ перед глазами, не совсем понимая: все было очень живо, как наяву, и жизнь этому мальчику еще предстояла, вся нелегкая, трудная жизнь, которую он взвалил на себя и тащил, но не выдержал до конца, рухнул, свалился, сбросил со своих плеч ответственность за дом, за семью, за сына...

Рядом, почти вплотную, была могила деда со стороны отца – такой же простой камень, какой отец завещал установить на своей могиле, только надпись была арабской вязью. Деда он не видел, тот умер до его рождения, умер нестарым, лет пятидесяти, и был прост и наивен до глупости – по рассказам отца, которые в детстве он обычно выслушивал невнимательно, вполуха, а отец настойчиво старался привить мальчику любовь к незнакомому деду.

Старый молла, запыхавшись, подошел к нему, поздоровался за руку (он мельком глянул на грязные ногти старика, на длинные четки, свисавшие с его левой руки) и сказал обычную в подобной ситуации фразу:

– Да упокоит его Аллах...

Надо было ответить такой же фразой в адрес его усопших, но ему было лень открывать рот и что-то говорить, вдруг он почувствовал страшную усталость, навалилась такая утомленность, будто он целый день таскал тяжести, и он почему-то воспринял эту необъяснимую утомленность как следствие видения отца детства, словно причина была в том, что он представил себе отца ребенком, будто это требовало невероятных усилий, и теперь разболелась голова, стало знобить как при сильной простуде, сжалось сердце, облилось черной печалью, будто отец только вчера умер, а не четырнадцать лет назад.

Когда молла читал заупокойную молитву из своей маленькой книжки, он вдруг так отчетливо почувствовал беспокойство, что застучало в висках, от боли раскалывалась голова, и он понял, что должен немедленно покинуть это место, это тихое, безлюдное кладбище, сунул в карман молле приготовленную заранее купюру и уехал на поджидавшем его такси. В машине он незаметно заснул под неторопливый говор болтливой таксиста, и видел сон.

И видел сон...

Как будто я гуляю со своим старинным другом, другом юности, с которым много лет мы знакомы, много-много лет. Все отлично, мы заходим в какую-то незнакомую дешевую забегаловку, но там нас сердечно приветствуют, моментально обслуживают, мы выпиваем, потом выходим на улицу. И тут он вдруг поворачивается ко мне спиной и торопливо, быстрыми шагами, будто боясь, что я стану догонять его, не прощаясь, удаляется, переходит на другую сторону улицы, и на остановке поджидает автобус, чтобы уехать домой. Я смотрю ему вслед, не могу понять, но ни шагу не делаю в ту сторону, куда он ушел. Я просто смотрю на него, стоящего на остановке

автобусов, ветер шевелит седые отросшие волосы, седые-седые волосы на непокрытой его голове, руки засунуты в карманы теплой куртки, он смотрит в ту сторону, откуда должен прийти автобус. Прощай, моя постаревшая юность... Как легко терять друзей в этой жизни, особенно, если их никогда по-настоящему и не было.

«Так из меня ничего и не вышло», – подумал он с запоздалой, притупившейся за годы горечью.

А ведь как он мечтал построить свою жизнь! Какие честолюбивые и прекрасные мысли роились в голове долгие годы, однако лень было претворить их в жизнь, не хватало энергии, не хватало способностей, недостаточно было таланта, а может, и вовсе не было, не хотелось действовать, а хотелось все время думать, мечтать, и все дальше уходить от реальности, от действительности, которую настоятельно в его годы требовалось переделывать, перестраивать, создавать, в конце концов, потому что то, на чем он обосновался и не желал сдвинуться с места – была пустота. Безделье. Ничто. Поглощавшее его огромное Ничто. Нет, конечно, что-то он делал, он работал, и уже долгое время, в одной и той же районной конторе по распределению электроэнергии населению довольно крупного поселка в семидесяти километрах от столицы, от Баку, где родился и вырос, и где постепенно утратил все свои честолюбивые помыслы и мечты; он женился, был покладистым, хорошим мужем, трудился как муравей, приносил аккуратно зарплату домой, жене; и уже были взрослыми дети, двое, девочка и мальчик, кому-то он был нужен, были у него и приятели, с которыми он встречался время от времени... но все это было так обыденно и так обидно, так мелко перед тем, что мечталось в юности, лет тридцать назад... Однако это была жизнь, его жизнь, и от этого никуда не денешься... Он вздохнул, и вздох получился тоже какой-то обреченный, печальный. На этом вздохе как раз вошла в комнату жена.

– Отдыхаешь? – спросила она с улыбкой, не желая беспокоить и даже не догадываясь, что у её молчаливого мужа творится в голове, в душе, что творилось долгие годы и так и не стало реальностью, он никогда не говорил с ней об этом, о том, что в юности, в молодости хотел стать профессиональным художником, был честолюбивым, хотел стать известным, и как быт (в это понятие включалась и семья, разумеется) и его природная склонность к бездействию разрушили его самые яркие, тщеславные планы; она же, тихая, безответная, преданная мужу, была вполне довольна им – муж как муж, не хуже, чем у других мужья.

Он только посмотрел на неё, зная, что просто так она не войдет в комнату, где он лежал после работы, отдыхая, что называется, плюя в потолок.

– Самир приехал, – сообщила она так, словно знала приехавшего, – звонил, когда тебя не было дома, сказал, перезвонит.

И улыбка её стала еще более радостной, будто она была уверена, что сообщает хорошую весть.

Он не сразу сообразил, и хотя обычно не любил сразу спрашивать, пока не подумает и не сообразит, но тут поторопился.

– Какой Самир?

– Твой друг детства. Из Лондона который. Про которого ты мне много раз рассказывал. Знаменитый художник. Ты что?! Проснись. Приехал, говорит, ненадолго, хочет встретиться...

И он вспомнил. Да, Самир! Они учились в одной школе, а когда он, Мехти, остался в классе на второй год, то и в одном классе, и вместе окончили школу, и вместе поступили в художественное училище... Да, Самир... Много лет назад он уехал,

сначала, вроде бы, в Москву, покантовался там, или учился, непонятно, потом – поговаривали – подался аж в Англию, в Лондон... Сделал себе карьеру, не то, что он... Вот валяется на диване и только и умеет, что подогревать давно остывшие мечты. Но первое, что он вспомнил о своем друге детства – совершенно неожиданно нахлынуло – было совсем не в пользу Самира. Картинка живо встала перед глазами, и он увидел друга семнадцатилетним. Когда они учились в старших классах, у Самира вдруг завелась странная привычка: он брал в долг, по мелочи, у своих одноклассников, в том числе и у него, Мехти, отдалялся от школы на квартал-другой и подкатывал к школе на такси именно в тот момент, когда из школы выходили их одноклассницы, выходил из машины, небрежно хлопал дверцей, расплачивался с шофером чужими деньгами и как ни в чем не бывало подходил к группе своих школьных товарищей, у которых только что брал займы. Деньги он никогда не возвращал, но это была такая мелочь, что многие стеснялись напоминать ему... Естественно, о его такой причуде, если только это можно было назвать таким мягким словом, вскоре все узнали и посмеивались за глаза, опасаясь насмеяться открыто, потому что нрав у Самира был крутой, и он никому не давал спуска, стоило его только задеть обидным словом... Но почему он сейчас вспомнил именно это? Почему именно это, не совсем приятное, навязчиво всплыло в памяти из их давней дружбы?.. Ведь было много и хорошего, доброго в их отношениях, несмотря на то, что Самир любил покрасоваться, прилгнуть, насочинять такого, что на следующий день сам же стыдился своей невероятной фантазии. Однако такое поведение сверстниками не воспринималось однозначно, никто не хотел, чтобы его держали за дурака и вешали ему лапшу на уши, какой бы ершистый характер ни был бы у враня и сочинителя. Но с ним, Мехти, Самир дружил, немало было случаев, когда лез за него в драку, за него, Мехти, несколько флегматичного, заторможенного, избегающего конфликтов, защищал его, несмотря на то, что был на год младше, а разница в год у подростков была немалым сроком... Они, можно было утверждать, были настоящими друзьями, дружили бескорыстно, крепко веря в дружбу, так как могут дружить только шестнадцатилетние подростки, еще не познавшие суровости жизни, но и при всем том Самир не упускал возможности подшутить, порой даже очень обидно, над своим наивным и доверчивым другом. Как-то раз, зная, что Мехти болезненно переживает свою низкорослость и мечтает вырасти и обогнать своего друга, и даже одно время стал заниматься баскетболом, чтобы вытянуться, Самир сказал простоватому (многие называли его простофилей) Мехти: «Бросай ты заниматься этой чепухой! Я вот узнал у опытного врача, как можно быстро, за короткое время вырасти, спорт тебе ничего не даст, да ты и не любишь спорт, я же знаю, через силу идешь на тренировки. А вот что нужно, поверь, это проверенный метод: ты каждое утро ешь по пять-шесть сырых помидоров, как начнешь есть, сразу увидишь результат, только рост придется мерить каждые два часа, если ничего не изменится, то и по вечерам перед сном надо есть тоже по пять-шесть штук, понял?» Мехти послушно, обрадовано кивнул, приняв на веру эту нелепицу, которую мог бы раскусить любой пятиклассник, даже не поинтересовавшись, у какого опытного врача мог узнать об этом «методе» такой мальчишка, как Самир; и с тех пор к недоумению матери из холодильника у них в доме стали таинственно исчезать помидоры. Мехти ел помидоры тайно, словно выполняя какой-то непонятный ритуал, ел торопливо, перед зеркалом, чтобы его, похитителя помидоров, не застукали, и внимательно следил за макушкой, но выше не становился, хоть и отмечал свой рост каждые два часа, как и было наказано другом. И когда, наконец, тайна похитителя помидоров была раскрыта

заподозрившей неладное мамой, он вынужден был сознаться. Мать не стала его ругать, но в душе лишний раз огорчилась от такой наивности и доверчивости сына. Тогда он ужасно обиделся на Самира, но так как по характеру был незлобив и отходчив, сам же первый подошел к другу через день, обнаружив, что без общения с Самиром в его короткой пока жизни появляется зияющая пустота. Но не все было так плохо и безнадежно с Самиром, было у него и немало прекрасных черт и поступков, и один из этих поступков он, Мехти, помнил до сих пор и будет помнить всю оставшуюся жизнь. Они учились в десятом, выпускном классе, когда в их класс была переведена из другой школы новенькая, неизвестно по какой причине, неизвестно как, обычно в последний учебный год с переводами из одной школы в другую в то время было довольно-таки сложно, но она перевелась, и была эта новенькая красавицей, которая затмила всех девочек не только их класса, но и, пожалуй, всей школы. Мехти со своим замкнутым, влюбчивым характером влюбился в неё до самозабвения, до обожания, до дрожи, пробиравшей его с ног до головы, стоило ему хоть издали завидеть её. Он и словом с ней не перемолвился, в её присутствии у него отнимался язык, а если что и выговаривалось, то это было до того косноязычно, что лучше бы ему было помолчать, что он и делал. Самир, напротив, разливался мелким бесом, непринужденно шутил с ней, заставляя её хохотать, без зазрения совести рассказывал ей старые анекдоты и шутки, порой довольно рискованные, которые у класса уже давно не вызывали улыбки, но тем не менее она смеялась, громко, заразительно, будто кто-то невидимый щекотал её. Мехти ненавидел её в такие минуты, ненавидел, но еще больше любил, влюблялся по уши, по макушку, и неизвестно, чем бы все это закончилось, когда Самир, заметив состояние друга и услышав наконец-то признание из его уст, вдруг резко поменял свое поведение с девочкой, перестал с ней общаться, уже не подходил на переменах и не смешил, как прежде. Самир, несмотря на то, что был на год младше Мехти, был почти на голову выше друга, был красивым подростком, девочки заглядывались на него, так же, как и новенькая. Мехти же по внешности был прямой противоположностью Самира: маленький, полноватый, неуклюжий, с вечно опущенной головой, похожий на откормленного бычка, готового бодаться, заторможенный мечтатель с вечно всклокоченными волосами, торчавшими на голове, как проволока, и не желавшими поддаваться расческе. И Самир тоже, в ответ на признание друга, признался ему, что новенькая очень ему нравится, и он пока не знает, влюблен или нет, но как бы то ни было, он уступает другу, прекращает с ней общаться. «Но больше я ничего для тебя не могу сделать, действуй сам», – сказал он, и был прав, и Мехти понял это: хорош бы он был, если бы Самир стал бы хлопотать перед ней о делах его сердечных, он был бы просто смешон, и если девочка до сих пор просто не замечала его, то после она его попросту презирала бы. Но этот поступок Самира он запомнил и был по-настоящему благодарен ему. А однажды, когда Мехти, подстрекаемый товарищами, не желая, чтобы его уличили в трусости, полез на крышу школы по шаткой водосточной трубе со двора (что было строжайше запрещено и каралось руководством школы исключением из учебного заведения), позабыв о своей главной фобии – высотобоязни, и уже на крыше, глядя вниз на кучку школьников, веселившихся от сознания, что удалось спровоцировать этого простофилю, понял, что спуститься отсюда он уже не сможет ни за что на свете, скованный страхом, под градом издевательств мальчишек в школьном дворе, Самир, не раздумывая, полез следом за ним и помог спуститься. Мехти стошнило от липкого, противного чувства животного страха и он, не сдержавшись, вырвал на своего друга. «Вот спасибо!», – шутиливо произнес Самир, когда они

спустились на землю, во двор школы, хотя ему в таком виде было явно не до шуток. Но ни словом не упрекнул друга. Самир не раз вступался за него и лез в драку, не раз выручал его из сложных ситуаций, которых в жизни каждого школьника бывает немало на каждом шагу, и он все прощал другу, все, даже не очень понятные, его поступки и действия, и даже часто подражал ему, его хорошим чертам характера, и если бы его спросили, кем он хотел бы стать, когда вырастет, окончит школу и вступит в жизнь (как говорили учителя, как будто в школе это была пока не жизнь, а какая-то подготовка к настоящей жизни), он ответил бы: Самиром. И это было вполне естественно среди юношей и подростков с неоформившимся еще характером: как правило, один бывает ведущим, второй ведомым, один – лидер, второй – идущий по его следам, влюбленный в своего друга и вожака; и дружба их была бескорыстной, беззаветной, жертвенной, как могут дружить дети только в школьные годы. Может, не последнюю роль в том, что школьная дружба для Мехти была очень важна и фактически заполняла всю его жизнь, всю его душу, сыграло еще и то, что в семье мальчика было далеко не благополучно. Он был единственным сыном, и все проблемы, которые то и дело возникали между родителями, тяжелым грузом падали только на его плечи; не было возможности поделиться ими с другими детьми в семье, их попросту не было; не было поддержки с этой стороны, и он один, один, один должен был справляться. Были стычки в семье, часто перераставшие в шумные скандалы между отцом и матерью, отец в последние годы стал попивать и возвращаться домой в тяжелом мрачном опьянении, и вскоре родители были уже в двух шагах от развода, и Мехти терял голову, не зная, как в этой ситуации должен поступить; к нему не прислушивались взрослые, да даже если б прислушивались, что бы он мог сказать им со своим неумением убеждать? Нельзя сказать, что отец и мать не любили Мехти, они любили его каждый по-своему, но скандалы они любили больше – такое складывалось у мальчика мнение, когда он видел, с каким остервенением два взрослых человека бросались в ссору, в скандал, в раздоры – и никто из них не мог сделать первый шаг, остановиться, прекратить вовремя, сказать «Хватит!» и положить конец этому каждодневному аду в семье, пойти первому на уступки, нет, они этого не умели, каждый гнул свою линию и непрекращающийся поток упреков заливал уши и душу ребенка, как обычно происходит в семьях с недалекими, глупыми родителями. А мальчик, вступивший в пресловутый переходный возраст, крайне болезненно реагировал на раздоры в семье и каждый раз подавлял свое негодование и ярость, но ничего не мог поделать, чтобы их маленькая семья не распалась, чтобы жизнь наладилась... Примерно в это время отец стал злоупотреблять спиртным и на истерические крики и негодование матери так же истерически орал в ответ избитую фразу всех алкоголиков и пьяниц: «На свои пью, не на твои!..» Эта фраза положила начало серьезному разлому в семье. В душе мальчика образовалась огромная пустота, и вот тут, как по мановению волшебной палочки, у него появился друг, настоящий друг, какого никогда у Мехти не было до сих пор, и в ком именно сейчас ощущалась большая потребность; и оба мальчика почувствовали что-то общее, родное между ними с самого начала их знакомства. Мехти мог с ним, с Самиром, говорить вполне откровенно и доверительно, будучи твердо уверен – а почему, и сам не знал, – что друг поймет, и даже если не сможет помочь советом, то поддержит морально, воодушевит, уверит, что не так все плохо. Они оба делились друг с другом и самым сокровенным, и самым интимным, и самыми глубокими чувствами, которые и объяснить на словах затруднялись, но порой и не нужно было слов, они понимали друг друга и без слов. Мало кто из мальчиков мог так крепко дружить,

и их – может, из зависти – прозвали близнецами, хотя по внешности трудно было найти двух таких непохожих друг на друга юношей.

И однажды, во время очередной ссоры между родителями, когда вопли матери, на радость прохожим на улице, были слышны далеко вокруг, он, заткнув уши и чуть не плача, вдруг услышал крик отца:

– Я работаю, как ишак! Я все делаю ради семьи!

– А у нас есть семья?! – истошно крикнула в ответ мать.

Никто, конечно, не спрашивал его мнения на этот счет, хотя и он был членом этой, дышащей на ладан, семьи.

Эта фраза матери ударила его в сердце, и он надолго запомнил её.

Позже отец и работать перестал, просто не ходил на работу и был уволен. Это, естественно, послужило причиной для нового взрыва скандалов в доме, которые ничего не решали, но ускоряли процесс распада семьи. Однако надо было на что-то жить.

Сначала продали дачу и этих денег хватило на некоторое время, гораздо меньше, чем рассчитывала мать, потому что большая часть опять же ушла на пьяные застолья, ночные пирушки отца – сначала в ресторанах, потом в дешевых забегаловках в кругу новоприобретенных приятелей, падких на бесплатные угощения.

Так не могло продолжаться долго, и вскоре родители развелись, и его, пока не определятся, с кем останется мальчик, отправили к бабушке. И теперь, вспоминая ту давнишнюю, почти детскую школьную дружбу с Самиром, Мехти понимал, что эта дружба заполняла пустоту, которую должна была заполнить любовь родителей. А может, он придает сейчас слишком большое значение эпизодам из своего детства, юности, своей мальчишеской, чистой, искренней дружбе, слишком драматизирует эпизоды из школьной жизни? Но ведь тогда они, эти эпизоды, были полны значения и смысла, так понятного в их юные годы, да и сейчас очень понятные ему, Мехти, должно быть, застрявшему в том времени. Тепло, что должна была получать его душа в семье, она получала от искренней дружбы и привязанности к школьному товарищу. Никогда уже потом не было у Мехти такой чистой и прекрасной, крепкой мужской дружбы, ни на работе, ни среди новых приятелей; отношения с приятелями, знакомыми не перерастали в дружбу. Жена... с женой, правда, ему повезло, и дети были хорошими, спокойными, не создавали лишних проблем. Но семья – это совсем другое, это не мужская дружба, на которой проверяется человек, его верность, его твердость, его преданность и многое другое; конечно, и в семье тоже нужны все эти качества, но... семья – это совсем другое. От семьи никуда не денешься, если ты порядочный человек, это твоя обязанность, а дружба – не обязанность, и друзья по жизни часто меняются, утрачиваются, уходят и остаются в прошлом...

А как у Самира? – думал он. – Нет, Самир совсем другое дело. Он уже там, у себя, наверное, знаменитость, личность общественная, постоянно на приемах, на презентациях, на тусовках, наверняка у него немало друзей... новых друзей, старых друзей... Но как же он при всем этом вспомнил о нем, о Мехти?

Тогда, после школы, он даже по примеру Самира тоже подал документы для поступления в Художественное училище, но, в отличие от друга, рисовал он так себе, вполне посредственно, звезд, как говорится, с неба не хватал, и искорки таланта, которая присутствовала в рисунках Самира, у него не было, просто поплелся за другом, помня, что старый учитель рисования и черчения в школе хвалил его работы и ставил одни пятерки, в отличие от работ Самира, которых старый рисовальщик (за-

давший целью научить всех детей рисовать именно так, как рисует он сам, их преподаватель) попросту не понимал, не переваривал, и его раздражала манера Самира воплощать на холсте свои самые причудливые фантазии, выплескивать их на бумагу, раздражала его вызывающая самостоятельность и самобытность... Самир, кстати, и тогда немало помог Мехти, поправив его рисунки, которые надо было представить для поступления в училище, и он прошел конкурс, и был рад, что и здесь они будут вместе учиться и дружить дальше... Казалось, Самиру все удавалось легко, быстро, красиво, рисунки его оживали на глазах, удивляли, изумляли, были насыщены оригинальным содержанием, в несколько минут рождался на листе рисунок карандашом или тушью, который приводил в восхищение его сверстников, завидовавших таким редким способностям одноклассника, тогда как Мехти буквально выцеживал, выдавливал из себя каждый штрих, каждую линию в поте лица, и рисование было для него нешуточным трудом, тяжким трудом и, приступая к новой работе, он каждый раз волновался и нервничал.

Что ж, он не стал художником, в отличие от друга, но тоже, можно сказать, нашел свое место в жизни, он стал настоящим чиновником, он аккуратен, хорошо знает свое дело и дотошно выполняет свои обязанности; он всегда был честен в своей работе... скажем так: относительно честен... ну... относительно других таких же, как и он, сотрудников. Он давно работает в этой солидной компании и давно освоил все те маленькие хитрости, которые помогают работникам жить, точнее, делать свою жизнь чуть качественнее, самостоятельно, без ведома руководства прибавляя к жалованию, потому как оно, это жалование, без сомнения, настоятельно требовало этого прибавления. И он не пускался во все тяжкие, гоняясь за левым, не совсем законным заработком, как многие другие делали у него на глазах, но брал то, что без ущерба и без вреда для других само плыло в руки; старался не упускать, хотя было много случаев, когда упускал, за что прослыл среди более шустрых коллег разиней, простофилей (школьная кличка каким-то непостижимым образом перекочевала и сюда, на службу), но в то же время его уважали на работе за честность и справедливость, за то, что не был жадным, как многие другие, стремившиеся урвать побольше и побыстрее, как перед концом света. Конечно, свои маленькие делишки обделывал, не без того. Многие из его сослуживцев, кто был пошустрее, договаривались с жильцами, устраивали им выгодные варианты с платой за электроэнергию, когда счетчик работал вполсилы, в четверть силы, а небольшую мзду за это получал сотрудник, совсем небольшую; но если он был сноровистым и поднаторевшим в своем деле, то таких «клиентов» среди населения, особенно населения пригородных поселков, где жили, в основном, люди бедные, было немало, были десятки, и если помножить эту небольшую мзду на количество клиентов, то получалась порой кругленькая сумма. Конечно, и свои проблемы в этом деле возникали, инспектора могли и часто переводили на другой участок, к неосвоенной части жителей района, и приходилось все начинать сначала; но были и другие подобные пути-дорожки, ведущие к заработкам. Ничего не поделаешь – надо было крутиться-вертеться, семью кормить, содержать, а содержать становилось с каждым годом все сложнее, потому как дети росли, и с их ростом росли и их потребности. Вот и приходилось пускаться на маленькие хитрости на работе, которые осваиваешь с приходящим опытом. Ну, если уж на то пошло, покажите мне человека, который был бы доволен своей зарплатой... Хорошо еще, что жена попалась вполне понимающая, покладистая – в этом ему точно повезло, что случалось с ним довольно редко в жизни, но это везение, по-

жалуй, было одним из главных в его судьбе – жена понимала его с полуслова и не укоряла за то, что он не министр энергетики республики. И, пожалуй, он неплохой семьянин, содержит семью, не позволяя жене работать. Хотя порой думает, что это было бы неплохим подспорьем для них...

Да, было бы интересно повидать его через столько лет... Сколько же? Он стал припоминать, когда Самир уехал из их родного города, когда в последний раз видел его, но запутался в годах, во времени, и бросил... какая разница?

Повторно звонок на квартирный телефон раздался только вечером, через час, когда уже привыкший к режиму Мехти обычно ложился спать. Но услышав в трубке бодрый, напористый голос давнего друга, он тоже взбодрился, забыл о сне, радостно забилося сердце.

– Я забыл взять утром у твоей жены номер твоего мобильного, – с места в карьер, не здороваясь, не спрашивая о самочувствии, как привык аккуратный Мехти, так, будто только утром виделись и он никуда не уезжал, прогрохотал знакомый, почти не изменившийся, если не считать возрастной хрипотцы, голос Самира. – Не побеспокоил твоих? Давай вылезай из норы, я в ресторане «Шуша», жду тебя!

И, не дав другу ответить, Самир отключился. Мехти положил трубку в некотором недоумении, посмотрел на номер, высветившийся на телефоне, это был мобильный, и не запомнил, а телефоном тут же завладела дочь и заперлась с ним в комнате. Мехти растерянно огляделся: как он узнал, что его квартира и впрямь похожа на нору? Давно требовавшие ремонта стены с кое-где обвисшими обоями, щели в покосившемся окне на улицу, старый кондиционер, который в пору в музей сдавать, выпавшие местами квадратики кафеля в ванной комнате... Самир, конечно, далеко не в такой квартире живет там, у себя, в Лондоне, и хорошо, что не заявился в гости внезапно, лучше, конечно, на нейтральной территории, но ресторан «Шуша»... Он не бывал там, но слышал, что это довольно дорогой ресторан, а пойти так, без копейки... тем более, что Самир гость, и угощать следует его, гостя, и платить должен, разумеется, он, Мехти. Надо было объяснить это жене, и, тяжело вздохнув, он пошел на кухню, где уже начинало вкусно пахнуть обедом.

– Что ты готовишь?

– Долму. Ты же сам просил, – сказала жена. – Забыл?

Вот было бы кстати пригласить его на обед, там у них, в лондонах, такую долму, как его жена готовит, ему не подадут, впрочем, и в ресторане должно быть не хуже. Можно бы перезвонить, но мысль о «норе» опять неприятно резанула память, и он отказался от этой мысли и стал многословно, неуверенно рассказывать жене про приглашение в ресторан со стороны приехавшего из Лондона друга.

– Это который утром звонил? – спросила жена. – Самир?

– Да, – обреченно ответил, одновременно кивнув, Мехти.

– Бери, – сказала жена. – Сам знаешь, где деньги. Ты прав: ты должен его угостить на правах хозяина дома, к которому приехал старый друг... А что он сам выбрал ресторан, что ж... это тоже нормально. Правда, эти деньги я отложила на ботинки Вугару, его обувь уже дважды чинили... но ничего, что-нибудь придумаем... Бери, бери, что ты! – видя, как муж растерялся после её слов о ботинках сыну, сказала она настойчиво и улыбнулась. – Что-нибудь придумаем...

Мехти вдруг так захотелось в эту минуту поцеловать жену, но он, да и она тоже, непривычны были к такого рода ласкам, не привыкли давать волю чувствам, и он сдержался, но увидел, как в ответ на его взгляд она ласково, понимающе посмотрела

рела на него, прямо ему в глаза, и это было, пожалуй, не хуже, чем поцелуй, который, к тому же, сын или дочь могли бы заметить и очень бы удивились, пришлось бы что-то говорить, превратить в шутку, а превращать не хотелось.

Мехти заказал такси, это было дешевле, чем брать такси с улицы, а на транспорте, на автобусе, он бы добирался до места минут сорок, это было недопустимо, – нельзя столько заставлять ждать друга, которого давно не видел, – и поехал в ресторан, где ждал его Самир. Они не виделись почти тридцать лет, и он немного волновался: каким окажется Самир? Ведь люди меняются. Таким же он будет шептунным, рубахой-парнем, каким был в юности, или остепенился? Конечно, остепенился, недаром в Лондоне живет, это тебе, брат, не родной город, где можешь показывать свой характер, там тебя живо скрутят акулы капитализма; хотя сейчас и у нас акул хватает, да таких, что фору дадут всем лондонам вместе взятым, но, надеюсь, Самир не из таких, он же как-никак – художник, с тонкой душой, умеющий видеть то, что другим недоступно, и умеющий из этого невидимого создавать произведения искусства – свойство, которому можно позавидовать, от души позавидовать... С такими мыслями в голове Мехти доехал, наконец, до ресторана. В дверях главного помещения стояли двое молодых людей в черных костюмах при галстуках. Мехти окинул их взглядом – они были одеты лучше, чем он, но у него в связи с этим не появилось никакого комплекса, что вот, мол, они одеты лучше, эти официанты, или как их там, охрана, скорее всего, вышибалы, хотя вышибать здесь было некого, публика вполне солидная, сюда часто ходили семьями, справляли дни рождений.

– Тебе куда, дядя? – бесцеремонно спросил один из парней.

Он назвал Самира.

– Он меня ждет, мой друг, – прибавил он на всякий случай.

– О-о! Самир-муаллим! Сюда, пожалуйста, сюда, я провожу, – подобострастно даже с полупоклоном, показывая рукой, словно собираясь нырнуть и проплыть стилем кроль, проговорил парень и пошел впереди Мехти, провожая туда, где ждет его друг. – Самир-муаллим! Вот это человек! Сразу видно, мужик с яйцами...

– Да? – спросил Мехти.

– Конечно! – с готовностью подтвердил парень. – Железный мужик!

Это был совсем другой человек, и когда он поднялся из-за стола навстречу другу и искренне радостно вскрикнул, приветствуя Мехти, тот убедился, что голос – это единственное, что осталось почти неизменным от его старого школьного друга. «А ты что думал? – укорил он самого себя. – Что он останется таким же, каким был тридцать лет назад? Время-то идет...» Он бы еще много чего подумал по своей привычке и инертному характеру, но тут был заключен в крепкие объятия Самира, был очень кстати встряхнут, оторван на несколько мгновений от пола и опять поставлен обратно на ноги в старых, поношенных туфлях.

– Ты совсем не изменился, – сказал Самир, разглядывая его с ног до головы своими быстрыми, зоркими глазами.

– Неужели? – вполне серьезно спросил Мехти.

– Ну, может, немного только, – поправился Самир. – А так – прежний Мехти... Усы отпустил... А ты что не следуешь моде? Легкая небритость или аккуратная бородка, а? Все ведь ходят теперь заросшими...

– Но ты же нет, – сказал Мехти и теперь только, глядя на друга юности, почувствовал, что по-настоящему рад его видеть, что даже соскучился по нему, хотя давно не вспоминал – ничего не поделаешь, разошлись пути-дорожки. Вот каким он

стал... как это сказать? – маститым, матерым... Сразу видно: хозяин жизни, не то, что он, Мехти, который еле справляется с проблемами своей маленькой семьи...

– Я – нет! – немного слишком гордо ответил Самир. – Я же, ты знаешь, всегда шел наперекор всему, также и наперекор моде, противоречить которой не так-то просто... Но... такой уж у меня характер. Мне обязательно надо идти против... Вот мода пошла: все, кому не лень, отращивают растительность на мордах, кому идет, кому не идет, кто на человека похож, кто на козла... У всех рожи в волосах. Не люблю. Надо же глаза иметь: не идет тебе, не делай, мало что мода... Одно слово – толпа, массы... А зачем отращивают, непонятно...

– Может, чтобы отличаться от женщин, – решил слегка пошутить Мехти.

Но эта легкая шутка, вопреки ожиданиям его, вызвала у Самира гомерический, неестественный хохот. Смеялся он тоже как-то по-хозяйски, с широкими жестами, запрокинув голову, с какой-то показухой: мол, я везде – как у себя дома.

– Чтобы отличаться от... Ха-ха-ха!.. Чтобы от... Ха-ха-ха! От... от женщин... – задыхаясь от смеха, повторял Самир. – Ну, ты сказал!.. Ха-ха-ха...

Мехти терпеливо ждал, стараясь удержать на лице напряженную улыбку, чтобы не обидеть друга.

– Это точно! – отхохотавшись, произнес Самир. – Теперешних мужчин не отличишь от слабого пола. Противно. Это разве мужики!? Каждый второй – педик...

Тут он запнулся, видимо, и сам понял, что наплел лишнего совсем не к месту, с другом встретился через столько лет, а болтает о пустяках. И потом, если каждый второй, то выходит – один из них... Он мысленно постучал себя по лбу: думать надо, когда говоришь!

Мехти сел за стол, повинувшись хозяйскому жесту Самира. Здесь уже многое было подано, красиво сервировано, холодные закуски, выпивка, напитки, но ничего не тронуто, тарелка перед Самиром была девственно чиста...

– Как задница моллы, – вдруг вспомнил Мехти, поглядев на тарелку, сказал и тихо засмеялся.

– Что? – не понял Самир. – Какая задница?

– Не помнишь? Отец твой говорил: холодильник у нас чист, как задница моллы... Кстати, как он? Как родители?

– Отец умер давно, – сказал Самир. – А теперь и мама... Я на похороны её прилетел, не успел, сам понимаешь, пока то, сё, дела задержали, разные договора, контракты, приходилось соответствовать, там с этим строго... Прилетел, а её уже давно похоронили... родственники. Теперь вот квартиру старую продаю, то есть, уже продал, некому там оставаться, так что... Ты о себе расскажи, как ты? Женат, конечно, да?..

– Да, конечно, уже дети взрослые... А ты как... как сложилось?

– Нет, я не женился, все холостой хожу... Бедная мама... Так и умерла, не увидев меня остепенившимся семьянином. Говорила, когда звонил ей: ты хоть там женись, кто за тобой приглядит в старости...

– Что ж так?

– Да дел столько было, да и сейчас, наша профессия требует полной самоотдачи, я всю жизнь посвятил ей, она моя жена, моя подруга, моя мать... - несколько патетически, высокопарно заявил Самир. – Да... А ты как, делаешь успехи?

– Какое там успехи! Я давно забросил это... это ремесло... эту профессию, – с опозданием поправился Мехти, помня даже сейчас, как не нравилось другу слово «ремесло».

«Я не ремесленник, – говорил он гордо, еще будучи совсем молодым, подающим надежды студентом художественного училища. – Я художник, творец!». И Мехти тогда становилось немного неловко за друга, за произнесенные им такие громкие слова, которых он, Мехти, всегда старался обходить, не применять; он теперь вспомнил это, поправился и продолжил:

– Хотя с опозданием понял, что это не мое. Ты – другое дело. Ты был настоящий талант. – И заметив, как передернулся Самир, Мехти тут же прибавил. – Ты и сейчас талант, нелегкое дело проявить себя в таком месте, как Лондон, центр Европы, столица искусств...

Мехти не привык тщательно выбирать при разговоре слова, выбирать выражения, он обычно имел дело преимущественно с рабочим людом, где не очень-то следили за своими словами и выражениями, говорили, как на язык ляжет, лишь бы было понятно; но здесь, с Самиром, он чувствовал: выражения приходилось выбирать и следить за языком, чтобы ненароком не ляпнуть что-то обидное для друга. Это немного напрягало и было несколько утомительно, поэтому в разговоре, который, как обоим им казалось, должен был литься легко и непринужденно, все чаще стали появляться напряженные моменты.

– Вообще-то столица искусств – это Париж, – усмехнулся Самир. – Но и Лондон конечно, не отстает...

И теперь оба вдруг отчетливо почувствовали, что разговор стал напряженным, что не о том они говорят почти после тридцатилетней разлуки; слова и тому, и другому давались как-то через силу, выговаривались трудно, и обоим хотелось прекратить этот потерявший свой едва наметившийся в начале накатанный путь, неудачно свернувший не туда разговор. Первым нашелся Самир, выведя их из неловкого положения.

– Ну, друг юности далекой, – далекой, но не забытой, давай-ка мы с тобой хлопнем по маленькой, выпьем и станем искреннее, как сказал поэт, – и он стал разливать водку по рюмкам, остановив жестом подлетевшего к их столику официанта. – Ты отдыхай, позовем, когда надо, – обратился он к официанту. – Я сам буду обслуживать своего дорогого друга.

Эта фраза вышла у него вполне естественно, и глаза его светились добротой. Мехти понравилось, что подобные фразы его друг может произносить так непринужденно, чего сам он не умел, ему было бы даже трудно произнести слова: «Дорогой друг», что-то искусственное в них было для него, что-то смахивающее на начало некролога.

По дороге сюда, в такси, Мехти казалось, как много он может рассказать давнему другу такого из своей жизни, что даже жене не расскажешь, хотя она у него замечательная, понимающая, но Самир... Самир – совсем другое дело, ему можно рассказать то, что мужчина может рассказать близкому по духу мужчине, ведь у него с тех пор, как уехал Самир искать счастья в чужие края, никогда не было таких друзей, которым он мог бы открыть свое сердце; и он предвкушал предстоящее общение, радовался и заранее обкатывал фразы, которые скажет другу.

Но Самир, как и прежде бывало, сразу перехватил инициативу, и мысли, которыми хотел поделиться Мехти, постепенно стали бледнеть, захирели и исчезли, как исчезают тени на стене от постепенно гаснущей свечи.

И они выпили по маленькой, потом сразу еще по маленькой, и обстановка немало разрядилась. Мехти, даже не помнивший, когда в последний раз выпивал, не-

много захмелел, Самир показался ему вдруг очень близким, родным, совсем другим человеком, не таким, как в начале их встречи, и ему захотелось обнять старого друга, рассказать ему о своей вполне заурядной жизни мелкого служащего, впрочем, полной совсем незаурядных случаев и происшествий, которые другу, наверное, было бы скучно выслушивать – ведь он не обычный человек, художник! Ему захотелось послушать Самира, узнать, как он живет, что делал все эти долгие годы, за которые он, Мехти, ничего не добился, а друг стал прославленным художником, как он слышал от многих знакомых, встречаемых им в разное время в родном городе.

– Знаешь, – между тем говорил Самир рассеянно слушавшему его Мехти. – Ну разумеется, ты знаешь, что это я? Об этом весь город говорит. Я уехал сначала в Москву, поступил в Суриковский, но потом бросил... Три года проучился, бросил с третьего курса...

– Почему?! – искренне удивился Мехти, в его понимании Суриковский институт, выпускниками которого являлись знаменитые художники, был пределом мечтаний для любого начинающего живописца, графика, скульптора. – Бросил такой институт!..

– Э-э... Ничего особенного, – явно рисуясь, лениво произнес Самир. – Слишком академично все там было. Мне порой преподаватели напоминали нашего старого, бездарного школьного учителя рисования, мир праху его. Надоело... И отправился прямиком в Лондон. Вот где школа! Настоящая школа! Лондонская школа живописи. Я стал приверженцем творчества Люсьена Майкла Фрейда, он художник-фигуративист, великий наблюдатель за людьми...

– Я, знаешь ли, давно отошел от этих дел, – признался Мехти, – да с самого начала было ясно: какой из меня художник! Хорошо – сразу понял, занялся делом, детей надо ставить на ноги, семья все же... Теперь в голове у меня одни только бытовые проблемы и идеи, далекие от творчества, – он виновато улыбнулся, тыкая вилок в салат и уже в который раз роняя с вилки дольку огурца.

Самир, казалось, с сожалением смотрел на него, но, не желая обидеть друга, проговорил:

– Ну и правильно. Каждый должен заниматься делом, к которому призван. Тогда и результат будет хороший. А чем ты занимаешься, если не секрет? Да возьми ты рукой! Оставь вилку. И ешь нормально, что ты как птичка клюешь?.. Ну, говори...

– Да никакого секрета, – тут же ответил Мехти. – Я старший инспектор районного отделения по распределению электроэнергии, работаю в государственной компании, очень солидная организация. Не в самом, конечно, министерстве энергетики, но тоже неплохо, жить можно...

– Главное, чтобы тебе нравилось, – поддержал друга Самир. – Чтобы, как говорится, на работу шел, ликуя, и с работы домой – пританцовывая...

– Ну, не совсем так, конечно, – рассмеялся Мехти. – Но, по крайней мере, не противно, жить можно... А у тебя там, в Лондоне... тоже, значит, семьи нет?.. Так ни разу и не женился?

– Нет, дорогой, ни разу, ни полраза, я не создан для семьи, – сказал Самир. – Загулял с самого начала, так что уж как-нибудь догуляю... Не жениться же мне в мои годы... Смешно...

– А что тут смешного? – сказал Мехти. – Люди и постарше женятся. Чтобы не оставаться одному в старости.

– Э-э, друг мой ситцевый, крепдешинный, – сказал Самир, поднимая рюмку. – Какой ты стал правильный. Давай-ка выпьем, о жизни покалякаем...

– А мы что делаем? Это и есть жизнь, – уверенно сказал Мехти. – Вот иногда мне кажется, что я ничего не добился, что нет главного в моем существовании, нет стержня, понимаешь? Не претворил, как говорится, мечту... Какой-то недовольный, сварливый голос во мне подбивает меня, портит настроение... А потом другой голос во мне говорит: не гневи Бога, у тебя прекрасная семья, жена, дети, ты ими доволен, они довольны тобой, несмотря ни на что... вы понимаете друг друга, что же может быть главнее в жизни человека?..

Пока они сидели за столом, слишком уж чрезмерно для двоих уставленным разными блюдами, телефон Самира беспрерывно звонил. Он бросал взгляд на высветившийся номер, но не отвечал, и можно было подумать, что это звонит один и тот же человек, решивший во что бы то ни стало добиться ответа на свой вызов. И то ли от этих уже нервирующих их обоих звонков, то ли от слишком уж угодливого официанта, снующего взад-вперед, то и дело заглядывающего к ним в кабинет узнать, довольны ли посетители, разговор тоже становился нервным, прерывистым, как дыхание астматика. Но Самире это, видимо, не мешало похвалиться и красочно рассказывать о своей богемной жизни в Лондоне, полной интересных приключений, связей, интриг, присущих исключительно миру искусства, то, чего не было и никогда не будет в жизни Мехти.

Мехти слушал его внимательно, но что-то в рассказе Самира настораживало, что-то было не до конца договорено, и общие места слишком уж походили на общеизвестные факты, которые можно было увидеть по телевизору, почерпнуть из Интернета, и ничего в них конкретного, что бы касалось непосредственно жизни друга далеко от родного города, не было, и создавалось впечатление, что Самир рассказывал о ком-то другом, кого они оба когда-то знали. Тем не менее уже заметно опьяневший Самир увлекся своим повествованием, и монолог его продолжался, накручивался, улетал в фантастические высоты. Мехти молча слушал, заметно погрузнев. Тепло, разлившееся в груди после того, как Самир назвал его: «Друг ситцевый, крепдешинный...» – слова, вышедшие из детства, когда Самир часто шуточно к нему так обращался, – это тепло стало медленно таять. И чем дольше он слушал треп Самира, тем все больше чувство неловкости за друга охватывало его; Самир будто красовался перед другом, как в те далекие годы, когда он красовался перед старшеклассницами, выходя перед дверьми школы из такси, нанятом на чужие деньги.

– Там меня очень уважают, – продолжал Самир, не глядя на Мехти, не интересуясь даже, хочет он слушать или нет. – Да, скажу тебе, дело у них поставлено на уровне, не то, что в вашей провинции, то есть, я хотел сказать, в нашей провинции. Ну что у нас за школа живописи, что за художники... Я успел здесь посмотреть пару персональных выставок... ничего примечательного, ничего самобытного...

– Не согласен, – возразил Мехти, уловив паузу в рассказе Самира. – У нас очень сильные художники, во всяком случае, в Закавказье наша школа живописи считается самой интересной... Уж настолько, чтобы отличать в живописи белое от черного, я разбираюсь.

– Ну... в Закавказье... Надо мыслить в мировом масштабе, смотреть шире, искусство перешагивает через границы, товарищ, – понес явную окоlesiцу Самир. – Я вот, кстати, выставлял свои работы в знаменитой галерее «Белый куб», ты, наверное, слышал, там выставлялись всемирно известные художники Англии...

Мехти молча покачал головой.

– Нет, не слышал?! – деланно удивился Самир. – Ну какой же ты темненький. Это была, конечно, не персональная выставка, но о моих картинах потом дала заметку всемирно известная газета «Индепендент»... Что, тоже не слышал? Как же вы тут живете, ничего не слыша?

– Я же, ты знаешь, не занимаюсь живописью, – сказал Мехти. – Не занимаюсь и не интересуюсь. Это была ошибка юности. Из меня такой же художник, как... как...

– Как что? – немного подождя и не дождавшись концовки, поинтересовался Самир.

– Как не знаю, что... – закончил Мехти и, покраснев, рассмеялся коротко, тихо, будто осуждая себя за косноязычие.

– Ну и ладно, – сказал вполне миролюбиво Самир. – В таком случае выпьем за то, чтобы каждый из нас на своем месте работал, получал бы удовольствие от своей работы и был бы удачлив, – и он вновь стал наполнять рюмки.

Мехти накрыл свою рюмку ладонью.

– Я больше не буду, – сказал он. – И тебе не советую.

– А мне зачем не советуешь? Меня никто не ждет. Могу выпить до чертиков...

– Ты что же, – спросил Мехти, – стал бухать? Это серьезно?

– Нет, что ты, – успокоил его друг. – Это только по поводу. Там я, можно сказать, мало пью, на разных тусовках, приемах, выставках, презентациях бокал-другой шампанского... Дон Периньон, и все дела...

Мехти неприятно кольнула эта дешевая детская бравада друга, но он промолчал, ничего не сказал.

Вскоре Самир, выпив в одиночестве еще несколько рюмок водки, опьянел по-настоящему, стал долго и тупо смотреть на Мехти, беспричинно качать головой, словно осуждая кого-то, звать без повода официанта, а когда тот входил в кабинет, Самир забывал, для чего звал его.

– А-а... Теперь я вижу тебя... Теперь ясно вижу... – с пьяной улыбкой проговорил Самир, шутливо погрозив пальцем и внимательно глядя в лицо ему мутным взглядом, насколько его мутный взгляд мог внимательно смотреть. – Теперь я вижу тебя, – повторил он со слишком подчеркнутой пронизательностью, что вот, мол, раскусил. – Ты совсем не изменился. Тот же Мехти, молчаливый, замкнутый, весь в себе. – И Самир залился беспричинным пьяным смехом, но весело, победно, будто ему наконец-то удалось раскрыть какой-то большой секрет.

– И я тебя вижу, – спокойно ответил Мехти с улыбкой глядя на друга.

И правда в глазах Мехти в Самире – сегодняшнем, уже далеко не молодом, заметно потрепанном временем Самире, все больше проглядывали черты подростка, бесшабашного, дерзкого, готового ринуться в драку, если где-то в чем-то проглянет несправедливость, Самира трепача, щеголя, враля и пижона – черты, такие простибельные в семнадцать лет, и такие симпатичные, если ими обладает твой юный друг, но такие странные для их теперешнего возраста.

И тут они обнялись, оба враз приподнялись из-за стола и обнялись. Это для обоих вышло так неожиданно и в то же время так естественно, как бывает, когда двое одновременно произнесут одно и то же слово, которое долго искали.

– Я пойду в туалет, – сказал Мехти, встал из-за стола и пошел к двери под пристальным взглядом Самира.

– Не пробуй там платить, – сказал Самир. – Насквозь тебя вижу. В туалет он пойдет... Меня и моих друзей здесь кормят бесплатно.

– Как бесплатно? – удивился Мехти, но готов был поверить.

– Мне здесь открыли счет, – сказал Самир, сопровождая слова широким хозяйским жестом.

– Да? – сказал Мехти и вышел в коридор, плотно притворив за собой дверь.

В коридоре он сразу же наткнулся на услужливого официанта, дежурившего, как часовой, у двери их кабинета.

Мехти подошел к нему.

– Я бы хотел уплатить по счету, – сказал Мехти. – Можно принести счет?

– Все уже уплачено, – с готовностью отозвался официант. – Самир-муаллим уплатил.

– Самир-муаллим уплатил? – стал уточнять Мехти. – Уплатил?.. Деньгами?..

– А чем же еще? – улыбнулся официант, блеснув золотым зубом. – Конечно, деньгами.

– А ему здесь... счет... говорит... – пробормотал Мехти и запнулся под непонимающим взглядом официанта.

– Что? – спросил официант.

– Ничего, – сказал Мехти. – Где здесь туалет?

Официант молча показал рукой.

Мехти вошел в туалет, бесцельно потоптался, помыл зачем-то руки и через минуту вышел.

Когда он вошел в кабинет, Самир сидел за столом, отодвинув тарелки, положив локти на стол, обхватив руками голову и бессмысленным взглядом уставившись перед собой.

– Не пора ли нам проветриться? – не садясь на свое место, поглядев некоторое время на друга, предложил Мехти.

Самир поднял на него мутный взгляд и мелко покивал головой.

Когда они вышли на свежий воздух (вряд ли его можно было назвать свежим в этом донельзя загазованном районе города), и Самир немного протрезвел и смотрел на приятеля не таким уж бессмысленным взглядом, как в ресторане, между ними как-то вдруг, спонтанно, начался новый этап в разговоре, который можно было бы охарактеризовать коротко «А помнишь?...» И давние друзья стали вспоминать далекие годы, и много смешного, веселого, грустного, невозвратного подкидывала благодарная память и тому, и другому. Они медленно шагали по улице – Самир приобнял друга за плечи – и то и дело останавливались, вспомнив что-то интересное, полузабытое, поправляя друг друга, уточняя, порой прибавляя и фантазируя (это, конечно, Самир), но, натываясь на жесткую цензуру, возвращавшую воспоминания в реальное русло (а это уже Мехти), какими они и должны были быть. И смеялись от души, хохотали до слез.

– А помнишь, как ты меня облевал, когда спускались с крыши? – говорил Самир.

– А директор школы снизу, со двора, кричала: «Немедленно за родителями, оба, оба, оба!»

– А помнишь, как пришел в школу твой папа, поговорил со сторожем вместо директора и ушел? – вспоминал Мехти.

– А помнишь, как мы в туалете пили портвейн «Три семерки»? Вошел учитель физкультуры, и ты с бутылкой в руках сказал, что просто привык подмываться в туалете, – смеясь, проговорил Самир.

– А помнишь золотозубого Рамиза? У него все зубы были в золотых коронках.

Он приходил к нам в школу с нагорного блатного квартала, постоянно глупо улыбался до ушей, сверкая зубами, и мы прозвали его «Роллс-ройсом» за ослепительный передок, хотя эту машину в то время видели только на картинках.

– А как прибили в коридоре гвоздями калоши физика! Он влез в них и растянул! Школа задрожала...

– А соревнование в туалете, кто выше пописает на стенку? Ха-ха-ха!...

– А помнишь, ха-ха-ха... – заранее смеясь, спросил Мехти, – как на уроке гражданской обороны нас учили надевать противогазы, и ты все кричал с последней парты: «Газы пускаты!?».

– А помнишь?...

– А помнишь?...

Эти внезапно нахлынувшие воспоминания привнесли теплую атмосферу в их общение, чего не было в ресторане и что они оба тщетно старались нащупать в напряженном, не совсем искреннем разговоре за столом, ломившемся от яств. Теперь оба почувствовали себя очень раскованно, будто и не было почти трех десятков лет, прервавших их юношескую школьную дружбу, будто только вчера они закончили школу, закончили художественное училище и готовились выйти, устремиться, ворваться в большую, настоящую жизнь, ожидавшую их с нетерпением, и сердца их были полны честолюбивых помыслов и мечтаний.

– Теперь я тебе признаюсь, как на самом деле обстоят мои дела, – внезапно посуровев после глубокой задумчивости, когда, казалось, он обдумывал и принимал какое-то важное решение, остановив друга посреди улицы и взяв его за плечи, несколько загадочно произнес Самир. Но взгляд его был далеко не веселым, как минуту назад.

Мехти посмотрел на него и почувствовал неладное, как в юности, когда они могли по глазам друг друга угадывать хорошие или плохие вести.

– Для этого надо было напиться, или мы все-таки остались друзьями? – поинтересовался Мехти.

– Конечно, остались, – кивнул Самир. – Но это я могу сказать только тебе. Теперь, когда я совсем один в этом городе, у меня только один близкий человек – это ты...

Мехти, непривычный к подобным признаниям, снова почувствовал себя немного неловко.

– Тебе не скучно то, что я тебе рассказываю?

– Нет, нет, что ты! – возразил Мехти. – Но ты пока ничего не рассказал... Говори, пожалуйста. Мне интересно все, что происходило с тобой в эти годы. Мне самому, как ты понял, особо рассказывать нечего. Женился, семья, работа, все как у всех, все обычно, обыденно, но я доволен... Так что, считай, что о себе я уже тебе рассказал. Продолжай, я, кажется, перебил?..

– Нет, ничего, – сказал Самир и надолго замолчал.

Мехти не мешал, терпеливо ожидая, чувствуя, что друг непременно должен высказаться, и понимая, как это порой необходимо одинокому человеку.

– В сорок три перенес инфаркт. Чудом выкарабкался.

– Что ты?! – участливо воскликнул Мехти. – Так тебе же, наверное, пить нельзя, – проговорил Мехти с такой неподдельной тревогой в голосе, что Самир, тепло улыбнувшись, посмотрел на него. – А ты что делаешь?! Что ж ты не бережешь себя?

– Для чего? Для кого? – произнес Самир и опять надолго задумался.

Они шагали по безлюдной улице, и ни один, ни другой не знали, куда их выведет эта улица.

– После инфаркта, – продолжал Самир, – врачи советовали мне сделать шунтирование. Но я не стал, не согласился.

– И очень напрасно. Очень глупо.

– Зачем? Сколько мне отведено Богом, столько я и буду жить, а больше мне и не надо. Живу пока... Знаешь, я до инфаркта спал голым, как привык с бабами... Ну и, когда один, тоже, привык, так было свободнее, вольготнее. А после инфаркта машинально стал надевать на ночь трусы, я вдруг осознал, что боюсь... Боюсь, что внезапно во сне... придут, а я, то есть, тело – голое. Правда, мертвые сраму не имут... Знаешь такую поговорку? Да, я как видишь, российская штучка... но, тем не менее, голым как-то неловко... Жил в Москве, теперь – в провинции, в глубокой, надо сказать, провинции... Российская глубинка, не скажу где, а то вдруг еще в гости заваляшься. Хотя здесь, в родном городе, намного лучше, растете и вширь, и ввысь. У меня две родины.

Мехти слушал его, не перебивая, почувствовал вдруг, что это был настоящий Самир. А тот неожиданно остановился, повернулся лицом к Мехти, заглянул ему в глаза. Мехти не отвел взгляда, выжидая.

– Да, у меня была эта искорка таланта, – сказал Самир, будто что-то доказывая самому себе. – Искорка, которую легко было загасить и которой, как ты правильно признаешься, не было у тебя. Да, но как я с ней обошелся, как утратил! Впрочем, все довольно банально. Я возгордился, возомнил себя гением, только потому, что мои ученические работы были, как я думал, оригинальны, стал ершиться, выпендриваться, не хотел по-настоящему учиться, трудиться, потом еще хуже: стал все чаще ударяться в халтурку, зарабатывать, как ремесленник, не искусством, а ремеслом, понимаешь? Вполне обычная история, многие безмозглые молодые люди, когда-то подававшие надежды, так вот угробили себя. Все очень банально. Афиши, плакаты и прочая дешевая хрень... Появились деньги, вполне солидные для студента, и закрутилось-завертелось... Не знаю, почему я тебе все это рассказываю, это ведь только моя проблема, да и интересного мало.

– Нет, – возразил Мехти, – продолжай.

– Правда? Ты сочувствуешь другу? – Самир улыбнулся грустной улыбкой, ментально сошедшей с лица.

– Смотря, какая будет концовка, – ответил Мехти на вопрос друга.

– Очень печальная. Для одного меня печальная, – сказал Самир, – никому больше и дела нет до всего этого, – он помолчал, шагая дальше по неизвестной ночной улочке с Мехти.

– Ну вот, – продолжил Самир. – Деньги, девчонки, гусарство, пьянки, бравада, пижонство. Стыдно вспомнить, но с другой стороны, когда это было... Я был молод, хотел перебеситься. Нет, я не оправдываюсь. Как можно оправдываться, когда сломал себе жизнь... И наконец меня исключили из Суриковского, да и пьяная драка тут кстати подвернулась, когда я избил преподавателя, по всем статьям я шел на заключение. Но я уже загулял, загудел, мне было пофиг. Да, я в самом деле ездил в Лондон, но кому я там был нужен, когда к тому времени я уже был выжат до конца и ничего путного не умел. Вернулся в Москву. Весь этот треп, что за столом я навешал тебе, прости... Все пижонство, ничего настоящего... Смотри! – вдруг сказал Самир, полез во внутренний карман пиджака и вытащил внушительную пачку зеле-

ных купюр. – Это деньги за квартиру. Я продал квартиру, где жила покойная мать, уже обменял на доллары... И знаешь, что я намерен делать? Я поеду к себе, в российскую глубинку, провинцию, и буду там жить тихо, как мышь, как тень, как мне, бездарю, и следует жить, буду проживать эти деньги... Так что мне особо следить за здоровьем даже не нужно. Нет, не думай, я не стал пьяницей, не стал наркоманом, не стал игроком, теперь я не швыряю деньгами, да и на баб уже не трачу, теперь обычно они тратят на меня, – вновь на миг в Самире проглянула хвастливость и тут же погасла, так что можно было подумать – привиделось. Мехти так и подумал. Ему очень хотелось, чтобы его друг детства оставался хорошим человеком в душе, даже несмотря на всю его порой искусственность, пустопорожную болтовню, неестественность, которая временами выглядывала из естества Самира.

– Да, эти деньги я буду просто проживать, – повторил Самир. – Надеюсь, их хватит... потому что, думаю, уже недолго осталось... Ох, давай присядем... Что-то мне...

– Что?! – встревожено спросил Мехти.

– Не бойся – сказал Самир. – Это со мной часто бывает.

Здесь, на улице, никаких скамеек не было, и они присели на край тротуара. Была уже ночь, изредка по этой улочке проезжали машины, и совсем не встречались прохожие.

– И теперь зато я твердо знаю, какое у меня предназначение в этой жизни. Наблюдать. Я пришел к этому недавно. И мне это нравится. До того, как я понял, я наделал много ошибок, много раз спотыкался, падал, вставал на ноги, побитый, набравшись опыта, который опять же не использовал, который меня, дурака, ничему не научил, и потому снова падал, и снова поднимался... но теперь я знаю: не надо суетиться, выпячивать себя, стремиться к чему-то непонятно зачем... То, что я наболтал тебе за столом и как старался показаться, – это так, из старой жизни, каким я был прежде... Чтобы ты знал... А каким я был?.. Пустышкой, чванливым идиотом, тщеславным, непомерно честолюбивым, заблудившимся в жизни, не нашедшим своего места... Теперь я твердо знаю: моё предназначение – наблюдать за людьми. Ты не представляешь, как это интересно, страшно интересно, сколько в них разного, непохожего одно на другое, сколько противоречивого, сколько во всех нас, во мне, в тебе... И я с недавних пор понял, что это профессия – наблюдать за людьми, за их поступками, словами, поведением, улыбками, характером, агрессией, всем, всем, что есть в человеке, что Бог вложил в него, а сам человек развил те или иные качества в зависимости от жизненных обстоятельств, одни развил и продолжил, а другие качества оставил в зачаточном состоянии. Наблюдать за людьми. Ты скажешь, что и художники, и писатели наблюдают вот так вот, но это совсем не то, они не свободны, они наблюдают и изучают, чтобы потом использовать, создать и поделиться, и прославиться, и заработать... А тут – совершенная свобода, я не хочу делиться своими наблюдениями, не хочу зарабатывать на этом славу и деньги; писатели и художники – люди несвободные, им обязательно надо что-то создавать, что-то доказывать, гоняться, принимать участие в гонках на первенство, получать призы и грамоты, как скаковая лошадь, что пришла первой к финишу. Они несвободны и слишком практичны. Я бы даже сказал: меркантильны с ног до головы. Нет, только наблюдать, наблюдать и думать, и это будет только твое, потому что если записывать, то всегда присутствует тайная, еще не до конца осознанная мыслишка – поделиться, обнародовать когда-нибудь, создать и преподнести, осчастливить человечество... Нет, не

моё... Что может быть интереснее и возвышеннее, чем просто наблюдать? – он замолчал, поглядел на друга.

– Ну, что молчишь? – спросил после паузы Самир. – Презираешь меня за то, что никем не стал? Что ж, я был готов к подобной твоей реакции.

– Нет, – сказал Мехти.

Самир молча внимательно поглядел ему в лицо.

– Ты здесь был единственным человеком, с которым я хотел повидаться. И я благодарен своей судьбе, своей юности, что у меня был такой товарищ, – сказал он после долгого молчания, что теперь ни тому, ни другому не было в тягость.

Он поднялся с тротуара.

– Вот так, – сказал Самир. – Я хотел с тобой поговорить, рассказать тебе все, я это сделал. И, кажется, мне стало легче... А теперь уходи. Мы здесь расстанемся. Иди.

В голосе Самира вновь прозвучали приказные нотки, тон, которым эти фразы были им сказаны, вернул Мехти на мгновение в их юность, когда друг верховодил и командовал, но, тем не менее, это не мешало их дружбе.

Мехти смотрел вслед уходящему Самиру, и тут память услужливо напомнила, подкинула ему недавний сон, в котором внезапно, не прощаясь, беспричинно, резко отвернувшись от него, удалялся по улице постаревший друг детства.

– Наблюдатель, – негромко проговорил Мехти, глядя, как высокая сутулая фигура растворяется в ночной мгле...

Будто его и не было вовсе... – подумал Мехти.

Он вспомнил эпизод из далекого детства, как Самир расплачивался чужими деньгами с таксистом у дверей школы и с нахальной горделивостью поглядывал на старшеклассниц, выходивших на улицу.

– Наблюдатель, – тихо повторил он, словно пробуя это слово на вкус, на реальность, на искренность, много ли в нем, в этом слове правды.

И тут ему стало страшно за друга, и он до боли в груди пронзительно почувствовал, как Самир все эти годы проживал множество своих ненастоящих жизней, как метался из одной крайности в другую, стараясь казаться не тем, кто он есть; и в то же время, словно озарение, вспыхнуло в нем понимание того, что они двое – единственные близкие люди на всем белом свете.

Он побежал следом за Самиром в темноту ночи.

– Эй! Постой! – крикнул он в пустоту.

Но никто не откликнулся, не отозвался из темноты. Нет, не догонишь, не вернешь...

...Если сильно зажмуриться и потом мгновенно распахнуть глаза, то в яркой синеве неба появятся мелкие звездные крапинки, похожие на пузырьки, как много-много лет назад, в детстве...